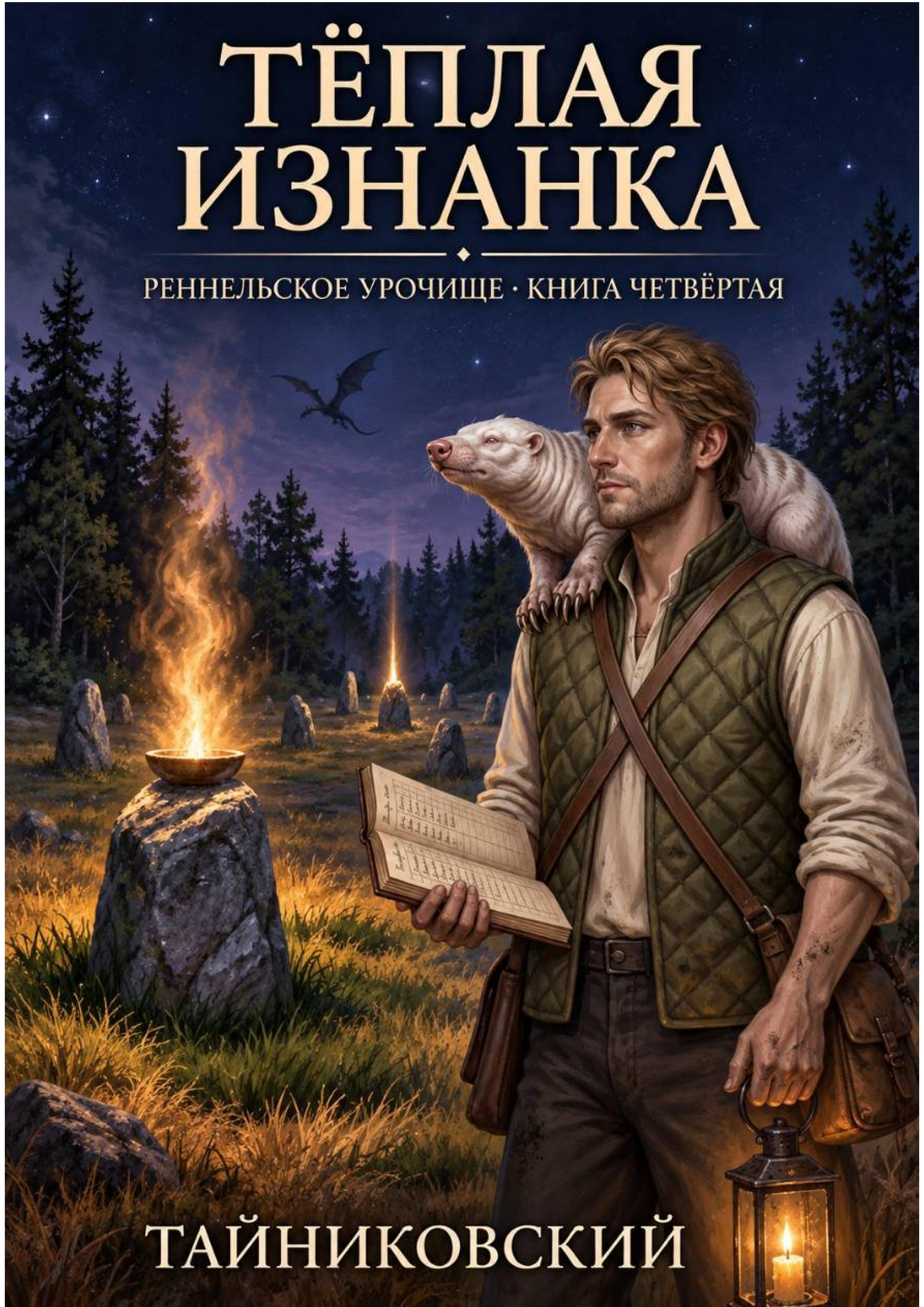


ТЁПЛАЯ ИЗНАНКА

РЕННЕЛЬСКОЕ УРОЧИЩЕ · КНИГА ЧЕТВЁРТАЯ

ТАЙНИКОВСКИЙ



Тайниковский
Тёплая изнанка

«Тайниковский»

2026

Тайниковский

Тёплая изнанка / Тайниковский — «Тайниковский», 2026

Зоолог Артём Волошин умер, думая о накладной на кормовые смеси, и очнулся в теле молодого барона. Наследство: заповедник магических зверей, четыреста тридцать два золотых долга и двести восемьдесят шесть медяков в кармане. Плюс дракон, который размеры которого зависят от золота. Немного не свойственный для меня жанр, но как начал писать - не смог остановиться) Надеюсь вам понравится!

© Тайниковский, 2026

© Тайниковский, 2026

Содержание

Глава 1	5
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Тайниковский

Тёплая изнанка

Глава 1

Затычку Бернат принёс на девятнадцатый день, и принёс он не одну, а две.

Положил обе на кухонный стол, рядом, и стал ждать, пока я замечу.

Я в то утро соображал плохо. За девятнадцать дней после ледохода я спал по четыре часа, потому что подвал у меня перестал быть подвалом: в углу под ящиками теперь была яма в семь шагов, в яме — бок камня с пустой чашей набок, и всякий раз, спускаясь туда с фонарём, я ловил себя на том, что смотрю не на чашу, а на плиту над ней.

Плита была пустая.

Девять лет на ней лежал дракон, и за это время я привык, что в подвале был Ксаверий Аргентум Третий. Теперь без него, тут было как-то пусто.

— Барон, вы считать будете или мне вслух сказать?

— Бернат, я вижу, что их две.

— Две, — подтвердил он и придвинул ко мне ближнюю. — Вот эта моя. Три дня работы, порода тамошняя, с прогалины, из того куска, что вы мне привезли. Сядет как влитая, и никто не отличит, покуда не вынет.

Я взял её в руки.

Камень был мокрый на ощупь, хотя лежал на сухом столе, — Бернат говорил, что такая порода всегда мокрая, а отчего, не знает никто, и сорок лет работы ему в этом не помогли.

— Бернат, а вторая?

— А вторая, — отозвался он, — Не моя.

— А чья?

— Барон, вот про это я вам и пришёл рассказывать, и на кухне я про это рассказывать не стану.

* * *

Мы вышли во двор, потому что на кухне в этот час Мавра уже гремела и слушала, а Бернат при Мавре говорить не любил: она его знала мальчишкой, и всякий раз, когда он начинал объяснять про камень, она вставляла, что помнит, как он ел сырое тесто.

Двор был весь в апрельской воде. У нас тут глина, и всякий апрель двор на неделю превращается в мелкое озеро с островами из битого кирпича, и по этим островам пятнадцать человек ходят на работу, и всякий год Гуш говорит, что надо бы подсыпать, и всякий год мы подсыпаем осенью, и всякий апрель это оказывается впустую.

Бернат остановился у сарая, достал вторую и подал мне.

Она была того же цвета и того же зерна, но короче и толще, и с одного бока у неё была наведена гладкая грань — не обломанная, а именно наведённая, руками, с нажимом.

— Бернат, где вы её взяли? — уточнил я.

— В четвёртом. Барон, в чаше четвёртого камня. На прогалине, в полутора верстах отсюда, там, где вы ходите два раза в неделю девять лет подряд.

* * *

Я на это ответил не сразу и ответил не то, чего он ждал.

— Бернат, в полутора верстах.

— В полутора, барон, я же и говорю.

— Бернат, мне это число девятнадцать дней назад назвали, — ответил я. — В ночь на тринадцатое, в ходе, перед тем как он ушёл. Он сказал: заткнутых камней восемьдесят восемь, семь помечены рукой мёртвого человека, и один лежит у тебя в полутора верстах.

Бернат постоял, потом снял шапку и надел обратно.

— Стало быть, я вам ничего не открыл.

— Стало быть, вы мне впервые за девятнадцать дней дали то, что можно взять в руки, — отозвался я.

Я эти девятнадцать дней прожил как живут с занозой, которую видно, а вынуть нечем.

Бернат положил передо мной камень и его можно взвесить. Камень можно показать Кричу, магистру Хольту, палате и всякому, кто спросит. И с этой минуты у меня в доме было не слово улетевшего дракона, а вещественное доказательство того, что он сказал правду хотя бы в одном из трёх пунктов.

— Барон, а третье он вам что сказал?

— Бернат, третьим было, что он вернётся.

— Ну, это мы тоже проверим, — не принял он. — Только, не сейчас.

* * *

Я не сразу нашёл, что ответить, и он этим воспользовался.

— Барон, я вам объясню, а вы потом сами решайте что делать. После той ночи я четыре дня не работал. Я ходил по прогалине и щупал чаши руками, все одиннадцать, потому что я в ту ночь держал в руках выбитую часть и понял, что до этого сорок лет смотрел на камень и не видел, куда смотрю.

— Бернат, и в скольких нашли?

— В одной, — ответил он. — Барон, в одной из одиннадцати. В четвёртом.

Он забрал у меня затычку обратно и повернул её гранью к свету.

— И вот что я вам скажу, а вы думайте. Ту, ночную, выбили изнутри. А эту ставили снаружи, руками, и ставил её человек, который знал, как ставить. Я такую грань навожу за полдня, но у меня и сорок лет опыта.

— Бернат, а вынули вы её когда?

Он помолчал ровно столько, сколько нужно человеку, чтобы решиться на то, чтобы не соврать.

— Позавчера. Барон, я вынул её без спросу, и я это знаю.

Отчитывать я Берната не стал, и не из доброты.

Я стоял посреди залитого двора с чужим обточенным камнем в руке и считал.

По тому, что нам сказал Ортвейл в феврале, затычка вынимается в мороз: порода при холоде садится по-разному, чужая и своя, и в мороз её можно расшатать, а в тепле она сидит намертво. Ортвейл нашёл шесть таких чаш за четыре года и все шесть открывал зимой, и он говорил об этом как о ремесле, которому научился в поле.

А Бернат вынул эту в конце апреля, голыми руками, в полдень.

— Бернат, она сидела свободно?

— Барон, она сидела как зуб, который вот-вот выпадет, — ответил он. — Я её пальцем качнул, и она пошла.

— И давно она так сидит, по-вашему?

— По-моему, барон, её кто-то уже расшатывал. Не в этом году и не в прошлом. Но расшатывал, а обратно вбил кое-как, и с тех пор она тут и ждала, — немного подумав ответил он и тяжело вздохнул.

Видимо, спокойной жизни мне в это мире не видать...

* * *

На прогалину мы пошли вчетвером после полудня.

Прогалина у нас в полутора верстах на северо-запад, за прудом и за вырубкой, и дорога туда идёт через ольшаник, который в апреле стоит по щиколотку в воде, и мы всякий раз идём по краю, гуськом, и всякий раз кто-нибудь да оступается.

В этот раз оступился я.

Гуш шёл первым, потому что так ходит всегда и иначе не умеет, Илмет — за мной, с сумкой через плечо, а Бернат замыкал и нёс обе затычки в холщовом мешке, как носят инструмент. Прогалина открывается сразу, без перехода: ольшаник кончается, и ты стоишь на ровном, поросшем низкой травой поле в полтора шагов, и на этом поле одиннадцать серых камней по колено и по пояс высотой, расставленных не рядами и не кругом, а как попало.

Двести лет назад их свезли сюда со всего уезда, потому что двенадцатый было не сдвинуть.

Восьмой горел.

Он горел девятый год, с той осени, как я его разжёл, и свет над его чашей стоял столбом в ладонь высотой и в ветер не гнулся, и все, кто приходил на прогалину впервые, сперва шли к нему, а на остальные десять даже не смотрели.

* * *

Четвёртый стоял с краю, ближе всех к ольшанику, и ростом он мне по бедро, и я девять лет ходил мимо него два раза в неделю. У меня в своде записано про него одиннадцать раз, и все одиннадцать записей одинаковые: «чаша суха, камень холоден, изменений нет». Я эти строки писал сам, своей рукой, в разные годы и в разную погоду, и ни разу не сунул в чашу руку.

Бернат опустил на колено и отгрёб от подножия прошлогодний лист.

— Барон, вы подойдите и встаньте с этой стороны. Отсюда видно.

Я подошёл и встал.

Чаша у четвёртого была не такая, как у нашего: мельче и шире, скорее блюдо, чем чаша, и по краю у неё шёл скос, старый, заросший лишайником так, что лишайник этот сам по себе выглядел камнем.

— Илмет, посвети-ка сюда.

— Господин, полдень на дворе, — ответил он, но подошёл.

А затем он подошел еще ближе и наклонился над чашей.

Затем он вдруг замер.

Так замирает человек, который шагнул в комнату и понял, что он там не один.

— Господин, подите сюда.

— Илмет, что там у тебя?

— Господин, тут тепло, — доложил он, не разгибаясь. — Не от солнца. Снизу.

Я опустил руку в чашу.

Из неё шёл воздух — не сквозняк, не дуновение, а ровный, плотный ток, какой бывает в дверях протопленной бани, если приоткрыть их в мороз. Он был тёплый, много теплее апрельского полудня, и он был влажный, и пахло от него не камнем и не водой.

Пахло от него землёй и грибом.

Так пахнет в подполе к концу зимы, когда картошка тронулась. А ещё так пахнет в старом лесу, где под валежником второй год стоит труха.

* * *

Мы просидели у четвёртого камня до вечера.

Илмет промерил чашу трижды, ладонью, локтем и бечёвкой, и записал все три числа отдельно, потому что четыре года назад придумал себе правило записывать промер тем, чем мерил, а не приводить к одному.

Гуш за это время обошёл прогалину по кругу и вернулся.

— Господин, тут трава.

— Гуш, тут везде трава.

— Тут другая, — не принял он и присел у подножия. — Вот. Господин, тут кругом на два шага она зелёная, а дальше жухлая. Она тут зимовала зелёной.

Я посмотрел.

Он был прав, и я это видел девять лет и не замечал, потому что у камня всегда мокро, а где мокро, там трава гуще, и я девять лет объяснял себе это водой.

— Гуш, а ты когда это заметил?

— Нынче. Господин, я и раньше видел. Заметил нынче.

— Гуш, а разница-то в чём?

— Разница, господин, в том, что раньше я на неё смотрел по-обычному, а нынче по-другому.

Вечером я открыл свод и просидел над ним час, прежде чем написать первую строку.

Свод у меня заведён на девятый год и ведётся по четырём графам, и четвертую придумал не я, а девятнадцатилетний мальчишка из Стеклойной степи, который в тринадцать лет пришёл сюда через горящий камень и остался. Графа называлась «мнение наблюдателя», и с тех пор как она появилась, я перестал врать себе в своде, потому что врать в первых трёх графах трудно, а в четвертой стыдно.

Написал я в тот вечер вот что.

«Второе мая шестьсот сорок девятого года.

Наблюдалось: чаша четвертого камня на прогалине была заткнута осколком чужой породы. Затычка вынута Бернато-плотником тридцатого апреля. Из чаши идёт тёплый влажный воздух, запах — прель, гриб, земля. Трава вокруг подножия на два шага зимовала зелёной.

Кем: держатель, Илмет из Стеклойной степи, Бернат-плотник, работник Гуш.

Когда: второго мая, с полудня до заката.

Моё мнение: я девять лет писал про этот камень изменений нет“ и ни разу не проверил рукой.

Заметить: затычку кто-то уже расшатывал прежде Берната».

* * *

Гретхен прочитала это утром и подняла голову от листа не сразу.

Она у нас третий год писцом, и за третий год я выучил, что когда она долго не поднимает головы, разговор будет тяжёлый.

— Господин барон, я вам сперва скажу про бумаги, а потом про остальное.

— Гретхен, говорите как удобнее.

— По бумагам, — отозвалась Гретхен Веккель. — У вас за девятнадцать дней прибавилось две живые чаши. Одна под домом, вторая в полутора верстах. Обе не в реестре. Господин барон, вы держатель перехода двенадцать дробь восемь. Одного перехода. По номеру.

— Гретхен, это я понимаю.

— Это вы понимаете умом, — не приняла она. — А я вам скажу, как это читается в палате. В палате это читается так, что держатель Реннел за одну весну обзавёлся двумя неза-явленными переходами и молчит про оба.

Она положила перо.

— И самое скверное тут, господин барон, то, что это правда.

Мартин пришёл к этому разговору к середине и слушал стоя, как стоял одиннадцать лет у стола Веккеля.

Он у меня четвертый год и до сих пор не сажился, пока не скажешь дважды.

— Барон, я прошу позволения сказать не по делу.

— Мартин, садитесь и говорите по делу, — попросил я. — Вы одиннадцать лет писали такие бумаги, и мне нужно именно ваше мнение.

Он сел на край стула.

— Барон, статья есть, и статья тяжёлая, — доложил Мартин Веккель. — Соккрытие живой чаши. По ней снимают держание и передают ведомству. Но я вам скажу другое, и вы это запомните лучше статьи.

— Мартин, говорите.

— Заявить надо самому и первым, — произнес он. — Барон, за одиннадцать лет я подшил девять дел, где человек скрыл, и во всех девяти его погубило не соккрытие, а то, что нашли без него. Ежели вы заявите сами, это будет обстоятельство. Ежели найдут — это будет улика.

* * *

Гретхен считала при мне вслух, и считала она долго.

Заявить означало вызвать освидетельствование. Освидетельствование означало комиссию, комиссия — не меньше трёх человек на неделю, а всякий приезжий в Урочище стоит нам постоя, корма и людей, и в мае, когда идёт приёмка и на дворе сорок голов на выдержке, у нас нет ни одного свободного человека. Не заявить означало ждать, пока приедет Ортвейл, у которого дело о порче чаш не закрыто и, по его же словам, закрыто не будет.

— Господин барон, я вам скажу цифру, а вы решайте, — отозвалась она наконец. — Комиссия нам станет в восемнадцать золотых. Это квартальные кормовые целиком.

— Гретхен, а неявка?

— А неявка вам станет в Урочище, — уточнила Гретхен Веккель. — Цифры у меня для этого нет.

— Гретхен, а если заявить только одну? Ту, что под домом.

— Тогда вторую найдут, и найдут её после вашего заявления, и это будет хуже, чем если бы вы молчали про обе.

Мавру я в тот день застал на кухне за делом, которого не понял.

Она стояла у окна и клала на наружный подоконник медяк.

Двенадцать лет она ставила на этот подоконник лампу, и все двенадцать лет никто в доме не спрашивал, для кого, потому что все знали и молчали. Лампу она ставить перестала в январе сорок третьего, когда человек, для которого она её ставила, умер в дальней горнице, и подоконник шесть лет стоял пустой.

А медяк там появлялся девять лет, каждый вечер, и клал его я.

— Мавра, вы зачем?

— А затем, мальчик мой, что ты нынче забудешь, — не приняла она, не оборачиваясь. — Ты второй день ходишь как пришибленный, и вечером ты про подоконник не вспомнишь, а я вспомню.

— Мавра, он улетел. Он на четвёртый день пути или уже на месте.

— Улетел, — согласилась она и подвинула медяк к самому краю. — И что же теперь, порядок менять?

Она обернулась и посмотрела на меня так, как смотрит человек, который старше тебя на полвека с лишком и об этом помнит.

— Мальчик мой, вот вернётся он через год, а подоконник пустой. И что он подумает?

— Ничего не подумает, - отвентил я.

— А вот и нет, - покачала она головой. - Я ящерицу почти пол века знаю, - произнесла она. - Подумает он, да еще как.

* * *

Двадцать вторую я в те дни навещал дважды в день, как навещал пеплогрива, и это была первая перемена, которую я в себе заметил после той ночи. Она лежала в своём загоне на

боку и не вставала, когда я входил, а раньше вставала всегда. Лапы у неё были обмотаны — Илария перевязывала через день, и на четвёртый раз сказала, что когти на передних сойдут все и отрастут не раньше осени, и что ходить она будет, а копать не сможет до самых холодов.

— Тобиас, вы опять сидите тут полчаса.

— Илария, я пришёл посмотреть повязку.

— Повязку вы посмотрели в первые две минуты, — не приняла она и стала убирать инструмент в сумку. — Тобиас, я двенадцать лет ездила по деревням и знаю, как выглядит человек, который сидит у зверя и думает про своё. Он сидит ровно так.

— Илария, я думаю про четвёртый камень.

— Вы думаете про пустую плиту у себя в подвале, — уточнила Илария тен Овеск. — А про четвёртый камень вы думаете, чтобы про плиту не думать.

* * *

Я не стал спорить, потому что она была права дважды.

Илмет в тот же день завёл для двадцать второй отдельную книгу, и завёл её без спросу, и принёс мне уже прошитой.

— Господин, я её переписал из приёмной.

— Илмет, ты переписал шесть лет?

— Шесть лет и четыре месяца, — доложил он. — Господин, в приёмной книге она идёт головой под номером и по графе «прочее». Я её оттуда не вычеркнул, потому что вычёркивать нельзя. Я завёл вторую.

Он положил книгу на стол и придержал ладонью.

— Господин, вы в своде написали, что это ваша вина, а не её. Я это читал. А потом подумал, что писать в своде легко, и сделал книгу.

— Илмет, а как ты её назвал?

— Никак не назвал покамест. Господин, я название оставил вам, потому что вы девять лет не решаетесь, а решать всё равно придётся.

Крич приехал восьмого мая, и приехал он не один, а с писцом, чего за ним прежде не водилось.

Виллем Крич ездил к нам на кварталный учёт с самого первого года, и за девять лет мы прошли с ним путь от взаимной неприязни до чего-то, чему я до сих пор не подобрал названия. Он по-прежнему считал, что я веду хозяйство не по уставу, а я по-прежнему считал, что устав писали люди, ни разу не державшие в руках больного зверя, и мы оба за девять лет ни разу не сказали этого вслух.

Считал он два дня.

На второй день к вечеру он позвал меня в зимовник, где стоял его раскладной стол, и положил передо мной лист.

— Барон, по головам у вас восемьдесят шесть. По видам двадцать шесть. Это я записал и подпишу.

— Магистр Крич, я слышу, что дальше будет «но».

— Дальше будет не «но», — спокойно ответил он. — Дальше будет «зачтено».

Он развернул лист ко мне.

Из двадцати шести видов зачтено было девять.

— Магистр Крич, объясните мне это по пунктам, — попросил я.

— Барон, я объясню по одному, и вам хватит, — доложил Виллем Крич. — Вид зачитывается, когда при нём пара и приплод за два года. Один экземпляр — не зачтено. Пара без приплода — не зачтено. Всё прочее — как у вас.

— И что переменилось? Девять лет считали по головам.

— Девять лет считали по головам, — подтвердил он. — А с нового года считают по зачтённым видам, и кормовые тоже. Барон, я вам это показываю в мае, а не в декабре, и я это делаю не по уставу.

Он свернул лист.

— И вы, барон, будьте добры, не благодарите. Я к вам приезжаю девять лет и не хочу приехать на десятый к Марвейнам.

— Магистр Крич, а Марвейны тут при чём?

— Барон, они пока ни при чём, и я вам сказал лишнее, — не принял он. — Считайте, что я назвал первую фамилию, какая пришла в голову.

Считали мы с Гретхен в ту же ночь.

Девять зачтённых видов вместо двадцати шести означали кормовых не двенадцать в квартал, а четыре с половиной, и это при восьмидесяти шести головах, из которых сорок на выдержке и едят вдвое против обычного, потому что зверь на выдержке всегда ест вдвое. Мы сидели в кабинете до третьего часа и перебирали, что можно свести в пару.

Пару свести нельзя.

У меня двадцать шесть видов, и семнадцать из них пришли ко мне поодиночке: изъятые у балаганов, отбитые у скупщиков, привезённые с Ольмерского перехода в числе двадцати двух голов, которых мне было велено не брать. Они не пара и парой не станут, потому что второй такой в королевстве нет, а если и есть, то стоит у кого-то в частном собрании и мне его не отдадут.

— Господин барон, вы понимаете, к чему это сводится?

— Гретхен, к тому, что нужен вид.

— К тому, что нужен вид, который вы возьмёте сами, — уточнила она. — Не изъятый и не купленный. Ваш, с обоими родителями и с записью о том, откуда.

* * *

Фойт из Овеськи привёз дрова одиннадцатого числа и привёз их на два воза меньше уговорённого.

Он за тридцать лет возит нам дрова и ни разу не недовёз, и я это заметил прежде, чем он слез с телеги.

— Фойт, а где остальное?

— Барон, остальное я вам привезу через месяц, и привезу честно, — доложил он. — А нынче не привёз, потому что мне лес не дали.

— Фойт, кто вам не дал лес? Овеськи не за вами, что ли?

— Овеськи за мной, — не принял он и сел на облучок боком. — Барон, за мной пятьдесят пять лет и полтора десятины, и лес в них мой. А заёмное письмо моё нынче не у Кальценского приказчика.

Он поглядел в сторону.

— Барон, у меня заёмное на сто двадцать золотых, и я по нему платил одиннадцать лет и выплатил восемьдесят. А в марте мне пришлось, что письмо перекуплено и платить я теперь должен в другое место. И место это в столице.

Я расспрашивал его час, и за час выяснилось, что в уезде так не у него одного.

Заёмные письма перекупили у четверых: у Фойта, у мельника в Кальцах, у вдовы с той стороны реки и у двоих братьев, чей надел лежит между нашей вырубкой и наделом тен Овесков. Все четыре письма ушли в одну контору, и это было самое неприятное во всей истории. Никто из четверых не был в просрочке, никого не теснили, условия остались прежние до дня, и все четверо узнали об этом письмом, вежливым, на хорошей бумаге, с пожеланием здоровья.

— Фойт, а вы кому-нибудь про это говорили?

— Барон, я мужик, а не дурак, — отозвался он. — Я про это говорю вам, потому что вы у нас единственный, кто пишет.

— Фойт, а от того, что я запишу, вам-то что?

— А мне то, барон, что записанное потом кто-нибудь прочтёт.

* * *

Илария приехала вечером того же дня, и я ей это пересказал, и она выслушала, не перебивая, до конца.

Потом сняла перчатки и положила их на стол.

— Тобиас, вы про мой надел не сказали.

— Илария, про ваш надел разговора не было.

— Значит, будет, — не приняла она. — Тобиас, мой надел лежит ровно между теми двумя братьями и вашей вырубкой, и заёмного письма на нём нет, потому что отец за всю жизнь не занял ни медяка и меня тем же испортил. И это значит, что я у них посреди дороги стою.

Она помолчала.

— И вот теперь вы мне предложите денег, а я откажусь, и мы оба потратим четверть часа. Давайте не будем.

— Илария, я не собирался предлагать денег.

— Собирались, — отрезала Илария тен Овеск. — Тобиас, у вас это на лице написано с той минуты, как вы про братьев сказали.

Ночью я не спал и пошёл на прогалину один.

Так делать нельзя, и я это знал с первого года: на прогалину ходят вдвоём, с фонарём и с записью в журнале обхода, потому что тринадцатый камень стоит там, где гнездо тихокрылов, а тихокрылы ночью не разбирают, кто идёт. Я всё-равно пошел и журнал не заполнил. Ночь была тихая, с той низкой ясностью, какая бывает в начале мая, когда днём уже тепло, а к утру ещё подмерзает, и над восьмым камнем стоял его ровный свет, и в этом свете прогалина выглядела как комната, из которой вынесли мебель.

Я дошёл до четвёртого и сел рядом с ним на землю.

Над чашей стоял пар.

Днём его не видно, а ночью, когда воздух остыл, тёплый ток из чаши сделался видимым, и над серым камнем поднимался столбик белёсого пара в две ладони, и его сносило к ольшанику.

Я сидел и смотрел на него, наверное, полчаса.

А потом сделал то, ради чего, как я теперь понимаю, и шёл: положил обе ладони на край чаши и потянулся туда, вниз, тем, чем тянутся, когда ищут в темноте рукой. Девять лет назад меня этим накрыло впервые, и я тогда ничего не делал сам. Потом я научился тянуться, и научился находить, и за девять лет привык, что нахожу одного: пеплогрива в его дворе, кисейницу на гнезде, двадцать вторую в подвале. Одного зверя, как одну свечу в тёмной комнате.

В чаше четвёртого камня не было что-то другое. Их было столько, что я не смог сосчитать и через пару секунд перестал пытаться, потому что считать там было нечего: это не было что-то непонятное, что шло сплошным фоном, как идёт гул от дальнего леса в ветреную ночь, когда не различить ни одного дерева.

При этом оно было тёплое, влажное, живое и очень старое.

Я сидел с ладонями на камне и не мог убрать рук, и меня трясло, и я в какой-то момент понял, что сижу так уже долго и что у меня по лицу течёт, а я этого не заметил.

А потом из этого гула ко мне повернулось одно. Не подошло и не приблизилось — просто в сплошном вдруг образовалось внимание, узкое и определённое, как если бы в тёмной комнате, полной спящих, кто-то один открыл глаза и посмотрел точно на тебя. И держалось оно на мне ровно столько, сколько я успел сосчитать до четырёх.

* * *

Руки я оторвал сам и упал назад, на траву, и лежал на спине, глядя в небо, пока не перестало трясти.

Трава подо мной была тёплая.

Я поднялся, отряхнулся и пошёл домой, и всю дорогу через ольшаник шёл быстро и ни разу не обернулся, чего за собой не помню с первого года.

В кабинете я сел к своду и сидел над ним до света, и написать сумел только четвёртую графу, а первые три оставил пустыми и заполнил уже потом, через день.

«Моё мнение: за девять лет я ни разу не находил больше одного зверя разом.

Нынче я нашёл не зверей.

Нынче меня нашли».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.